



ПОЛИТИЯ

А.И.Миллер

РОСТ ЗНАЧИМОСТИ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО ФАКТОРА В ПОЛИТИКЕ ПАМЯТИ — ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ¹

¹ Статья подготовлена в рамках исследования, проводимого при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований и АНО «Экспертный институт социальных исследований» (грант № 19-011-31148\19).

Алексей Ильич Миллер — доктор исторических наук, профессор факультета истории, научный руководитель Центра изучения культурной памяти и символической политики Европейского университета в Санкт-Петербурге; приглашенный профессор Центрально-Европейского университета (Будапешт). Для связи с автором: millera2006@yandex.ru.

Аннотация. Начало XXI в. ознаменовалось не только изменением общеевропейского нарратива памяти, но и переосмыслением самой природы культурной памяти. Вместо того чтобы рассматривать эту сферу как пространство изживания политического, в ней стали видеть неотъемлемую часть политики. В итоге прежний подход, ориентированный на преодоление разногласий как внутри отдельных стран, так и в межнациональных отношениях, уступил место антагонистическому подходу, в котором память оказывается полем непримиримых конфликтов. Следствием этих сдвигов стала интенсивная институционализация политики памяти. Другое важное следствие — изменение методологии изучения политики памяти, фокус на взаимодействии акторов и коммеморации как способе конституирования групп, а также иное понимание роли исследователя как участника тех процессов, которые он анализирует.

В России институционализация политики памяти началась с некоторым запозданием. Переломным стал 2012 г., когда были созданы Российское историческое и Российское военно-историческое общества, начата работа над Историко-культурным стандартом, а также над проектом, который позднее развился в тематические парки «Россия — моя история», принят закон об иностранных агентах. В том же году родилась инициатива «Бессмертный полк», годом позже — «Последний адрес». В статье обсуждается роль различных акторов в процессе институционализации политики памяти в РФ и та ситуация, в которой оказались историки и исследователи культурной памяти в новых условиях.

Ключевые слова: нарратив памяти, культурная память, политика памяти, коммеморация, институционализация политики памяти

² Миллер 2016:
111—121.

Мне уже приходилось писать на страницах «Полития» о важных изменениях, произошедших с европейским нарративом памяти². Речь шла о том, что формировавшийся в 1960—1970-е годы и утвердившийся в 1980—1990-х годах в рамках ЕС нарратив, в центре которого стоял Холокост как уникальное по своим масштабам и последствиям событие европейской истории, в XXI в. под давлением новых членов ЕС начал уступать место «истории двух тоталитаризмов». В этой истории преступления нацизма уравнивались с преступлениями коммунизма, ГУЛАГ — с Холокостом³.

³ Ghodsee 2014:
115—142.

Однако изменения касались не только конструкции общеевропейского нарратива, но и более глубинных вещей, понимания самой природы той сферы публичной активности, которая называлась коллективной или культурной памятью. В конце 1980-х — начале 1990-х годов немецкий опыт воспринимался как во многих отношениях образцовый, в том числе и в нашей стране⁴. Он описывался понятиями *Aufarbeitung der Vergangenheit* (проработка прошлого) и *Vergangenheitsbewältigung* (преодоление прошлого). В подобной проработке и преодолении прошлого видели не просто моральный императив, но и необходимое условие успеха будущего развития общества. Причем считалось, что обсуждение «трудных страниц» прошлого приведет к взаимопониманию и примирению между конфликтовавшими прежде народами. События в Западной Европе, где за последнее десятилетие XX в. заметно выросло число стран, публично признавших свою ответственность за Холокост, казалось бы, подтверждали правильность такого подхода⁵, позднее получившего название «космополитический»⁶. Этот подход, во-первых, предполагал преобладание «критического патриотизма» с упором на постыдные эпизоды национального прошлого, что исключало нарратив, сфокусированный на страданиях собственной нации. Во-вторых, он постулировал возможность создания общих наднациональных нарративов, повышающих популярность совместных межстрановых учебников истории и других аналогичных проектов.

⁴ Gabowitsch 2017:
267—302.

⁵ См. Ассман 2014;
Radonić 2017:
269—288.

⁶ Bull and Hansen
2016: 390—404.

Космополитический подход к памяти трактовался как нормативный и до определенной степени имитировался претендентами на членство в ЕС на стадии подготовки к вступлению. В практиках политического использования памяти в Западной Европе были и репрессивные элементы, но они осмыслились как маргинальные. Знаменитый немецкий «спор историков», например, воспринимался как конфликт правильного и неправильного подхода к минувшему, который должен получить должное разрешение и сойти на нет⁷. Исследования того времени, включая знаменитый проект Пьера Нора о «местах памяти», фокусировались на едином большом нарративе, формируемом нацией и объединяющем ее. Все признаки того, что общий нарратив, отражающий «правильный» подход к прошлому, сопряжен с подавлением иных точек зрения, сознательно отодвигались в тень. Конфликт, если он возникал и обсуждался, рассматривался как эпизод на пути достижения общей позиции, выработки общего нарратива и преодоления прежних

⁷ Бергер 2012:
33—64.

⁸ Todorov 2009: 447—462.

несправедливостей⁸. Иначе говоря, предполагалось, что в сфере культурной памяти законы политики не работают. Такое восприятие нашло отражение в сугубо негативной окрашенности термина *Geschichtspolitik* (историческая политика), возникшего в контексте «спора историков» для обозначения неопозволенного вмешательства политиков в сферу культурной памяти, попыток использовать память в политических целях. Культурная память считалась сферой, свободной от политики, где должно господствовать «гражданское общество», то есть либерально-демократическая общественность.

⁹ Миллер 2016: 111—121.

Однако столкновение с подлинной восточноевропейской культурой памяти разрушило прежний консенсус⁹. Восточноевропейская культура памяти опиралась на принципиально иные основания — ее стержнем был национализм, и в роли главной, если не единственной жертвы выступала именно своя нация. Немецкий образец, базирующийся на убеждении, что «национализм неизбежно ведет к нацизму» и в центре работы памяти должно стоять покаяние, был глубоко чужд странам Восточной Европы¹⁰. Этот конфликт до определенного времени камуфлировался, восточноевропейские страны, заявлявшие о своем стремлении в Европу, старались продемонстрировать приверженность космополитическому канону как общеевропейской ценности. Но в действительности подход посткоммунистических элит к политике памяти был кардинально другим¹¹. И речь здесь не только о несовместимости виктимного нарратива восточноевропейских стран с западноевропейской версией общеевропейского нарратива, но в ином понимании самой природы культурной памяти.

¹⁰ Krastev and Holmes 2018: 117—128.

¹¹ См. Астров 2012: 184—215; Воронович 2018: 167—189.

¹² Stockholm Declaration 2000.

Можно сказать, что Стокгольмская декларация о коммеморации Холокоста 2000 г. стала высшей точкой развития европейского космополитического дискурса памяти и стоявшего за ним взгляда на политическое использование памяти, которая рассматривалась в качестве сферы, где политическое должно быть преодолено¹². Как это часто бывает, признаки разрушения «космополитического консенсуса» ретроспективно можно различить уже тогда, на рубеже XX и XXI вв. Со всей очевидностью они проступили после резкого расширения ЕС на восток в 2004 г. Включив сразу 10 новых стран, восемь из которых относились к числу посткоммунистических, ЕС потерял ключевой инструмент влияния на поведение их элит. Уже в 2004 г. в Польше появились публикации, говорившие об исторической политике (*polityka historyczna*) в абсолютно ином ключе, чем подразумевалось творцами немецкого термина *Geschichtspolitik*¹³. В новой интерпретации историческая политика предстала прежде всего частью политики как таковой и на внутренней, и на международной арене.

¹³ Cichocka and Panecka (eds.) 2005; Cichocki 2005; Kosiewski 2006.

¹⁴ Миллер 2012: 7—32. Эволюция моих представлений о содержании понятия «историческая политика» внимательно прослежена в Luczewski 2017.

Первая реакция многих исследователей, включая и автора этих строк, на подобный сдвиг состояла в осуждении выраженных в нем политических интенций и убеждений¹⁴. Однако по мере все более основательного утверждения данного подхода в практике того, что теперь называют исторической политикой, политикой памяти или политическим

¹⁵ Hartog and Revel 2001; Andrieu, Lavabre, Tartakowsky 2006.

¹⁶ Molden 2016: 125—142.

¹⁷ Джеффри Олик говорил о «remember-ing», об акте коммеморации, включающим индивида в определенную группу и создающим ее (Olick 1999: 342; см. также Olick 2007: 85—118).

¹⁸ Bernhard and Kubik 2014: 12—14.

¹⁹ Подробный анализ «законов памяти» см. Korosov 2017; Belavusau and Gliszczynska-Grabias (eds.) 2017. Оговору свое несогласие с рядом ключевых интерпретаций, предложенных этими авторами.

использованием прошлого, задачей стало уже не моральное осуждение, а анализ этого подхода и его методологических следствий для исследовательской культурной памяти. Или, что точнее, политик памяти и политических использований прошлого во множественном числе¹⁵. При акценте на политическом (*политика* памяти, историческая *политика*, *политическое* использование прошлого и т.д.) космополитический подход оказывается либо неадекватным, либо неискренним. Он либо не видит, либо своекорыстно отрицает, что в действительности в этой сфере идет борьба различных мнемонических акторов, чьи интересы зачастую непримиримы¹⁶. А значит, речь идет не о преодолевающем противоречия диалоге, а об *антагонистическом* противостоянии *политических* оппонентов.

Непримиримый характер противостояния подкрепляется двумя важными тенденциями последних лет. Во-первых, культурная память подверглась секьюритизации, то есть была концептуализирована как напрямую связанная с вопросами безопасности — государств, наций, демократии. Во-вторых, новая «политика идентичности» стала активно использовать сферу культурной памяти для артикуляции «травматического опыта» и агрессивного утверждения «достоинства» групп, добивающихся преимуществ в качестве компенсации за прежние несправедливости, для защиты оскорбленных чувств. В этой политике проявилось понимание того, что акты коммеморации не только подтверждают наличие группы, но и конституируют таковые¹⁷. В том случае, когда встает вопрос о безопасности или о самом существовании определенной группы и ее правах, любая попытка оспорить групповой нарратив оказывается антагонистическим актом.

Исследователи, предложившие понятие «mnemonic warriors» (воители памяти) для описания непримиримо настроенных мнемонических акторов, исходят из того, что поведение этих акторов непременно основано на убежденности в правоте собственной интерпретации¹⁸. Иллюстрацией этого тезиса могут служить многообразные примеры «борьбы с памятниками» — от Украины до США. Полагаю, однако, что подобная убежденность отнюдь не является обязательной характеристикой «воителей памяти». Нередко они релятивизируют вопрос об исторической достоверности нарратива, признавая право каждой национальной общности (или группы) на *свой* нарратив. Они настаивают не столько на том, что их нарратив полон и достоверен, сколько на своем праве считать так, а не иначе. Они озабочены прежде всего утверждением исключительных прав своего нарратива в пространстве своей общности, воспринимая любую его критику как диверсию против ее единства и сплоченности. Именно в этом кроются корни необычайной активности стран Восточной Европы в производстве законодательных актов, ставящих под запрет попытки оспорить ту или иную интерпретацию, заданную национальными нарративами¹⁹. Поэтому, кстати, так важен вопрос о том, чем руководствуется воинственный мнемонический актер, предпринимая коррекцию нарратива, — действительно ли он готов пересмотреть собственную позицию или просто старается сделать свой нарратив менее уязвимым

для критики, не меняя его по существу. Это два качественно разных подхода; за одним может скрываться попытка вернуться, хотя бы отчасти, к принципам «критического патриотизма», за другим — лишь стремление упрочить нарратив этнической виктимизации и непогрешимости²⁰.

²⁰ *Подробнее см. Миллер и Ефре-
менко (ред.) 2018:
144—195.*

Одним из следствий утверждения взгляда на культурную память как на сферу политического, сферу непримиримого конфликта становится интенсивная институционализация политики памяти. Политические акторы нуждаются в специальных инструментах для эффективного участия в политике памяти. Они активно экспериментируют с традиционными формами (музеи, учебники, мемориалы), одновременно избредая новые (Институты национальной памяти, «комиссии правды», комиссии по подсчету ущерба от оккупаций и т.д.). Мы можем наблюдать здесь два взаимосвязанных процесса — с одной стороны, доминирующие элиты стремятся создать формально независимые институты, которые имели бы больше свободы в проведении определенной политики памяти по сравнению с государственными структурами, с другой стороны, они стараются поставить под контроль автономные инициативы. При этом важно учитывать и то, что подобного рода автономные инициативы способны ускользать от такого контроля.

Признание культурной памяти сферой политики влечет за собой принципиальные изменения не только в понимании задач и принципов ее функционирования, но и в подходах к ее изучению. Пожалуй, наиболее масштабная и системная попытка переосмыслить такие подходы была предпринята группой авторов, декларировавших наступление третьей волны «memory studies»²¹. Вместо того чтобы видеть в производстве памяти плод деятельности уже оформленных групп, они предлагают рассматривать его как часть процесса производства идентичностей и формирования сообществ²². Если раньше, даже говоря о политике памяти, обсуждали главным образом стратегии построения нарратива, выбор ключевых для него мест памяти, способы его продвижения посредством музеев, памятников, учебников, праздничных дней и проч., то теперь акцент сместился на конфликты нарративов, на борьбу за музеи, памятники и т.д. Как следствие, в фокусе внимания исследователей должны оказаться акторы и институты, понимаемые и как организации, и как устойчивые практики, а также их взаимодействие в широко трактуемых процессах коммеморации²³.

²¹ *Feindt et al 2014:
24—44.*

²² *Ibid: 25—26.*

²³ *Ibid: 27.*

Авторы статьи о «третьей волне» обсуждают также изменившееся понимание роли самих исследователей. Как активные члены общества, вовлеченные в политические и идейные конфликты, ученые тоже становятся участниками политики памяти. Это особенно отчетливо видно в современной ситуации, когда конфликты и войны памяти часто выходят на первый план политической повестки дня — будь то споры об интерпретации событий прошлого, от Второй мировой войны до войны Севера и Юга в США, или дискуссии о судьбе казавшихся до недавнего времени неоспоримыми либеральной демократии и глобализации. Яркий пример такой политической вовлеченности — статья в одном из

последних номеров «Memory Studies», где современная ситуация в Америке и Европе описывается как угроза возрождения фашизма и прямо постулируется наличие у исследователей памяти политических задач и обязанностей²⁴. Подобного рода алармизм и откровенная политическая ангажированность, как правило, встречаются в социальных сетях, но сегодня мы все чаще сталкиваемся с ними в университетских кампусах и на страницах ведущих научных журналов.

²⁴ *Levi and Rothberg 2018: 355—367.*

Описанные тенденции к усилению влияния политических акторов и ускорению формирования институциональной среды политики памяти проявились и в России. Конечно, не без местной специфики. Обращаясь к государственным пятилетним программам патриотического воспитания, принятым в России в 2005, 2011 и 2015 гг., Питер Бюргер показывает, что если реализация первой программы почти целиком возлагалась на Министерство по делам печати и Министерство культуры, а вторая направляла значительную часть финансирования созданным к тому времени довольно многочисленным специализированным правительственным агентствам, то примерно с 2010 г. началось активное строительство тесно связанных с властью НПО, занимающихся этой проблематикой²⁵. Политика памяти, особенно коммеморация военных подвигов, неизменно занимает центральное место в патриотическом воспитании. Именно на рубеже первого и второго десятилетий XXI в. происходит резкая интенсификация процесса институционализации политики памяти в России, ранее явно отстававшей в этом отношении от большинства соседей.

²⁵ *Bürger 2016: 172—192.*

Наиболее выраженные формы данный процесс приобрел в условиях, сложившихся в результате принятия в июле 2012 г. закона об иностранных агентах. Этот закон существенно затруднил финансирование НПО из зарубежных источников и вместе с тем резко увеличил объем государственных вливаний в эту сферу. Все это еще четче обозначило роль государства как ключевого актора и регулятора политики памяти. Подавляющая часть государственных денег идет на уже упомянутое патриотическое воспитание и деятельность провластных, а то и прямо организованных властью НПО. Однако они достаются и давно работающим на этом поле автономным структурам, переформируя их взаимоотношения с властями, а также новым инициативам, настойчиво отстаивающим свою автономию²⁶.

²⁶ *Так, в 2016 г. крупный государственный грант был предоставлен Фонду «Холокост», а проект «Последний адрес» регулярно получает гранты Фонда «Президентский центр Б.Н.Ельцина».*

Государственная грантовая система постепенно превратилась в основной источник финансирования исследований памяти, что, конечно, влияет на выбор тем исследовательских проектов и чревато усилением самоцензуры ученых. Но, говоря о воздействии такого положения вещей на исследователей памяти, нужно отметить и другой, не менее важный фактор. Новые институты в сфере политики памяти активно привлекают их в качестве экспертов и все чаще выступают по отношению к ним в качестве работодателей. Эта ситуация порождает весьма неоднозначные последствия. И отказ, и согласие участвовать в экспертизе сами по себе уже связаны с политическим выбором, с готовностью/неготовностью

сотрудничать с тем или иным институтом. Но дело не только в выборе. При изучении институтов, в отличие от изучения нарративов, огромное значение имеет инсайдерская информация, которую невозможно получить извне. Между тем попадание внутрь того или иного института накладывает на исследователя неформальные, а иногда и формальные ограничения, связанные с корпоративной этикой. Все сложности подобной ситуации еще только предстоит осмыслить.

Подробное рассмотрение процесса институционализации политики памяти в России заведомо не укладывается в рамки статьи, поэтому ограничусь лишь самым общим описанием его динамики. Комиссия по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России, просуществовавшая с 2009 по 2012 г., не оставила значимого следа, кроме имиджевого ущерба. Но в 2012 г. были учреждены две всероссийские организации, тесно связанные с властью, — Российское историческое общество (РИО) и Российское военно-историческое общество (РВИО). По состоянию на сегодняшний день можно констатировать, что РВИО, созданное прямым указом президента²⁷, заметно опережает РИО в институциональном развитии, создав отделения во всех субъектах Федерации и обеспечив им мощную поддержку в региональных органах власти²⁸. РВИО патронирует сотни патриотических организаций и реконструкторских объединений²⁹ и действует в той сфере политики памяти, где государству легче всего достичь взаимопонимания с обществом — коммеморация военных героев всегда была ключевым элементом национальной идентичности³⁰.

Не стоит недооценивать, впрочем, и роль РИО, курирующего перестройку другой важной институциональной сферы политики памяти — преподавания истории в школе. Создание Историко-культурного стандарта, инициированное президентом в 2012 г., позволило жестче контролировать школьную программу по истории, в том числе и так называемую «региональную составляющую». Вообще, проблема сочетания общегосударственного большого нарратива и локальных групповых нарративов — одна из центральных в современной политике памяти в России.

Другой крупнейший актер в области политики памяти, тесно сотрудничающий с властью, но имеющий собственную повестку, — Русская православная церковь (РПЦ). Она располагает сетью епархиальных музеев, и под ее контролем находится целый ряд мемориалов, связанных с политическими репрессиями, включая Бутовский полигон. Некоторые исследователи полагают, что в целом РПЦ (не без помощи властей) взяла верх над «Мемориалом» в борьбе за формы коммеморации жертв репрессий³¹.

Осенью 2013 г. в Манеже начала работать выставка «Православная Русь. Романовы», которую можно считать шагом на пути к созданию тематических парков «Россия — моя история». Решение о создании региональной сети таких парков было принято в 2016 г., но первые части экспозиции открылись еще в 2015 г. в павильоне ВДНХ. Патронат РПЦ над этим новым институтом постепенно дополнился участием РВИО.

²⁷ Указ 2012.

²⁸ Почти половину отделений РВИО возглавляют региональные чиновники высокого ранга.

²⁹ Сводную таблицу всероссийских патриотических организаций см. <http://onfront.narod.ru/Patr.htm>.

³⁰ Hutchinson 2017: 50—85.

³¹ См., напр. Vogutitil 2018.

Специального изучения заслуживает соотношение общего и регионального в тематических парках.

NB! Следует отметить, что парки на качественно новом технологическом уровне воплотили тенденцию, которая прослеживается в Восточной Европе с начала XXI в., — переосмысление музея как пространства репрезентации нарратива, а не хранителя артефактов. Первые образцы таких экспозиций — это организованная по поручению Виктора Ющенко выставка о Голодоморе, состоявшая только из плакатов, и Музей оккупации в Риге, где плакаты довольно скупо дополнены мультимедийными средствами. Именно возможность репликации подобного рода экспозиций определяет их особую ценность для политики памяти, особенно в больших странах.

В музейной сфере происходит множество процессов, целостное осмысление которых еще только предстоит. В Восточной Европе с ее отчетливо выраженной партийной конкуренцией мы можем наблюдать, как те или иные музеи действуют под патронатом политических партий, репрезентируя соответствующую версию истории. Примером может служить Будапешт, где Дом террора отражает «мученический» нарратив партии «Фидес», а Мемориальный центр Холокоста — нарратив «критического патриотизма». По всей Восточной Европе созданы музеи оккупации, музеи террора, музеи геноцида, сосредоточенные на мартирологии собственной нации. По мере роста популярности левых сил одной из функций этих музеев становится подкрепление нарратива, неразрывно связывающего левую идею с образом тоталитарных репрессий, и подавление ностальгических настроений³². Этот тренд отчетливо просматривается в противостоянии двух музеев ГДР в Берлине — государственного, акцентирующего серость, контроль и террор, и намного более популярного частного, рассказывающего о повседневном быте коммунистической Восточной Германии.

Весьма поучительна судьба Музея Второй мировой войны в Гданьске, которая позволяет зафиксировать еще одно важное измерение процесса институционализации политики памяти. Музей, существенную роль в создании которого играл Международный консультативный совет, изначально задумывался как место общеевропейской памяти, и многие видели в нем свидетельство утверждения тенденции к глобализации памяти даже на весьма сложной для этого польской почве. Но сразу же после победы на выборах «Права и справедливости» готовый к открытию музей был реформативирован в организационном плане, в нем поменялось руководство и «национальное» решительно взяло верх над «глобальным». Кодой этой истории можно считать постыдный скандал, когда директор музея Кароль Навроцкий прервал выступление приглашенного самим же музеем польского музыкального коллектива и выгнал его

³² Ghodsee 2014: 115—142.

³³ Кувалдин 2019.

участников за исполнение «проникнутой большевистской пропагандой» песни «Темная ночь»³³.

Помимо тематических парков, уже попавших в фокус исследовательского внимания, заслуживают анализа музей ГУЛАГа, целенаправленно «приглаживающий» историю лагерей, нескончаемая эпопея с музеями блокады и обороны Ленинграда, судьба музея «Пермь-36». Я не вижу в этих историях «партийности» в чистом виде, но вопросы институционального контроля здесь играют решающую роль.

³⁴ В советское время специальных научно-популярных журналов по истории не было.

Интересные процессы происходят в области медиа. В последние годы в России сложилась система научно-популярных журналов по истории³⁴, консервативный фланг в которой представлен «Историком», либеральный — «Дилетантом», а «Родина» занимает позицию в центре. Строго говоря, эти журналы уже не вполне «традиционны» — их аудитория в социальных сетях превышает по численности читателей бумажной версии. Активно развиваются новые, характерные только для интернета медийные формы — в частности, блоги. В условиях, когда число посмотревших рецензию на очередной фильм на исторический сюжет нередко превосходит, как, например, у BadComedian, число видевших этот фильм в кинотеатрах, недооценивать влияние новых медиа было бы большой ошибкой. Несмотря на все старания властей, интернет с трудом поддается регулированию. Это касается и политики памяти.

³⁵ О подобного рода мультиплицируемых инициативах см. Gabowitsch 2016: 297—314.

При анализе процесса институционализации политики памяти, наряду с усилением роли государства, которое выражается в появлении большого числа тесно связанных с властью НПО, резком сокращении возможностей негосударственного финансирования и т.д., нельзя упускать из вида и определенные ограничения, с которыми сталкиваются власти в своем стремлении установить контроль над этой сферой. Один из примеров таких ограничений — «Бессмертный полк». Особенность этой инициативы в том, что она поддается копированию. Как следствие, бок о бок с уже «огосударственными» структурами возникают новые автономные, которые «защищены» институционализацией «Бессмертного полка», то есть превращением этой инициативы в легитимную социальную практику³⁵. Другой пример — это «Последний адрес», выстроивший систему финансирования, которая позволяет поддерживать проект без государственных субсидий (хотя некоторые государственные деньги эта организация и получает). Интересно, что недавняя финансовая проверка, воспринятая лидером «Последнего адреса» Сергеем Пархоменко как первый шаг к закрытию проекта, оказалась просто проверкой. И дело здесь во многом в тех издержках, с которыми сопряжены попытки воспрепятствовать деятельности, de facto превратившейся в устойчивые практики — институты. Весьма показателен в этом плане провал попытки московских властей вытеснить с Лубянской площади под предлогом ремонтных работ церемонию «Возвращение имен». В 2018 г. «Мемориалу», который начиная с 2007 г. организовывал эту церемонию у Соловецкого камня, было предложено перенести

³⁶ *Власти Москвы*
2018.

ее к памятнику жертвам политических репрессий на проспекте Сахарова. Это вызвало взрыв негодования в социальных сетях, и, осознав угрозу массового гражданского неповиновения, способного охватить даже тех, кто не ходил регулярно на эту церемонию, власти уступили³⁶. В этом случае мы видим, как сугубо общественная устойчивая практика получила такое признание в массовом сознании, что даже не запрет, а попытка изменить ее ход грозила властям настолько большими издержками, что они пошли на попятную. Вероятно, «Последний адрес» уже тоже можно отнести к категории таких устойчивых практик — институтов. И, конечно, это касается «Мемориала», который выдержал длительное давление со стороны властей и добился признания неоснованным причисление его к иностранным агентам³⁷.

³⁷ *Минюст* 2019.

Другое важное измерение историй с «Возвращением имен» и «Последним адресом» — принципиальное различие стратегий коммеморации, характерных для автономных и государственных инициатив. На масштабном мемориале «Стена скорби» на проспекте Сахарова, представляющем собой двусторонний барельеф с выбитым на нем множеством безликих фигур, можно найти лишь два имени — скульптора Георгия Франгуляна и президента РФ Владимира Путина, по чьему указу, как сказано в пояснительной табличке, был установлен этот мемориал. Но именно индивидуальность жертв, их имена находятся в фокусе «Последнего адреса» и «Возвращения имен». То же самое относится и к мемориальному комплексу в Бутово, открытому в 2017 г. на общественные средства, и «Стене памяти», возведенной «Мемориалом» в 2018 г. на бывшем специальном объекте НКВД «Коммунарка» на средства Фонда увековечения памяти жертв политических репрессий. По состоянию на сегодняшний день индивидуализация жертв оказывается свойством инициатив, родившихся снизу, а отсутствие индивидуального компонента — отличительной чертой государственной традиции мемориализации.

Пока можно констатировать, что с 2012 г. институциональная сцена политики памяти в России приобрела новые очертания. Именно в этом году были созданы РИО и РВИО, начата работа над Историко-культурным стандартом, а также над проектом, который позднее развился в тематические парки «Россия — моя история», принят закон об иностранных агентах. В том же году родилась инициатива «Бессмертный полк», годом позже — «Последний адрес».

Следующей важной вехой стал рубеж 2013—2014 гг., когда в результате событий на Украине и присоединения Крыма резко ужесточился политический контроль над публичной сферой. Жертвой стали несколько важных инициатив, предполагавших партнерство общества и государства. Программа коммеморации жертв политических репрессий, подготовленная в Совете по развитию гражданского общества и правам человека и уже утвержденная летом 2013 г., была свернута. В это же время московские власти резко утратили энтузиазм в отношении инициативы «Последний адрес». Готовность использовать

культурную память как пространство для диалога и сотрудничества с оппозиционными сегментами общества, отчетливо просматривавшаяся в начале второго десятилетия XXI в., сегодня практически сошла на нет.

³⁸ *Важный вклад в эту работу вносит коллективная монография «Политика памяти в России и Восточной Европе: институты, акторы, нарративы», подготовленная в Центре изучения культурной памяти и символической политики ЕУ СПб. (см. Миллер и Ефременко (ред.) 2019).*

Все сказанное выше представляет собой попытку в самом общем виде очертить карту институционального измерения политики памяти, которому, на мой взгляд, предстоит стать одним из магистральных направлений исследований культурной памяти и в России, и в Европе. Работа по его изучению предполагает существенное изменение методологических подходов, фокус на взаимодействии акторов и коммеморации как способе конституирования групп, а также новое понимание роли и места самого исследователя в этих процессах³⁸.

Библиография

Ассман А. (2014) *Длинная тень прошлого: Мемориальная культура и историческая политика*. М.: Новое литературное обозрение.

Астров А. (2012) «Историческая политика и „онтологическая озабоченность“ малых центрально-европейских государств (на примере Эстонии)» // Миллер А. и М.Липман, ред. *Историческая политика в XXI веке*. М.: Новое литературное обозрение: 184—215.

Бергер Ш. (2012) «Историческая политика и национал-социалистическое прошлое Германии, 1949—1982 гг.» // Миллер А. и М.Липман, ред. *Историческая политика в XXI веке*. М.: Новое литературное обозрение: 33—64.

«Власти Москвы предложили перенести на проспект Сахарова акцию „Возвращение имен“». (2018) // *Ведомости*, 20.10. URL: <https://www.vedomosti.ru/politics/news/2018/10/20/784196-vozvraschenie-imen> (проверено 07.06.2019).

Воронович А.А. (2018) «Роль европейской политики памяти в государственной исторической политике Молдовы и Украины в 2000-х годах» // *Политическая наука*, № 3: 167—189.

Кувалдин С. (2019) «„Темная ночь“ одна на всех. Кто и почему запретил советскую песню в Польше» // *Сноб*, 31.05. URL: <https://snob.ru/entry/177406/> (проверено 07.06.2019).

Миллер А. (2012) «Введение: Историческая политика в Восточной Европе начала XXI в.» // Миллер А. и М.Липман, ред. *Историческая политика в XXI веке*. М.: Новое литературное обозрение: 7—32.

Миллер А. (2016) «Политика памяти в посткоммунистической Европе и ее воздействие на европейскую культуру памяти» // *Полития*, № 1: 111—121.

Миллер А. и Д.Ефременко, ред. (2018) *Методологические вопросы изучения политики памяти*. М., СПб.: Нестор-История.

Миллер А. и Д.Ефременко, ред. (2019) *Политика памяти в России и Восточной Европе: институты, акторы, нарративы*. СПб.: Изд-во Европейского университета.

Минюст не включил НИПЦ «Мемориал» в реестр иностранных агентств. (2019) // URL: <https://www.memo.ru/ru-ru/memorial/departments/intermemorial/news/235> (проверено 07.06.2019).

Указ № 1710. (2012) URL: <https://rvoio.histrf.ru/officially/ukaz-1710> (проверено 07.06.2019).

Andrieu C., M.C.Lavabre, and D.Tartakowsky. (2006) *Politiques du passé: Usages politiques du passé dans la France contemporaine*. Aix-en-Provence: Presses universitaires de Provence.

Belavusau U. and A.Gliszczyńska-Grabias, eds. (2017) *Law and Memory: Towards Legal Governance of History*. Cambridge: Cambridge University Press.

Bernhard M. and J.Kubik. (2014) «Introduction» // Bernhard M. and J.Kubik, eds. *Twenty Years after Communism: The Politics of Memory and Commemoration*. Oxford: Oxford University Press: 12—14.

Bogumił Z. (2018) *Gulag Memories: The Rediscovery and Commemoration of Russia's Repressive Past*. New York: Berghahn Books.

Bull A.C. and H.L.Hansen. (2016) «On Agonistic Memory» // *Memory Studies*, vol. 9, no. 4: 390—404.

Bürger P. (2016) «State Programs, Institutions and Memory in Russia» // Brusis M., J.Ahrens, and M.S.Wessel, eds. *Politics and Legitimacy in Post-Soviet Eurasia*. London: Palgrave Macmillan: 172—192.

Cichońska L. and A.Panecka, eds. (2005) *Polityka historyczna: historycy — politycy — prasa*. Warszawa: Muzeum Powstania Warszawskiego.

Cichoński M.A. (2005) *Władza i pamięć: o politycznej funkcji historii*. Kraków: Ośrodek Myśli Politycznej.

Feindt G., F.Krawatzek, D.Mehler, F.Pestel, and R.Trimcev. (2014) «Entangled Memory: Toward a Third Wave in Memory Studies» // *History and Theory*, vol. 53, no. 1: 24—44.

Gabowitsch M. (2016) «Are Copycats Subversive? Strategy-31, the Russian Runs, the Immortal Regiment, and the Transformative Potential of Non-hierarchical Movements» // *Problems of Post-Communism*, vol. 65, no. 5: 297—314.

Gabowitsch M. (2017) «Foils and Mirrors: The Soviet Intelligentsia and German Atonement» // Gabowitsch M. *Replicating Atonement*. Cham: Palgrave Macmillan: 267—302.

Ghodsee K. (2014) «A Tale of „Two Totalitarianisms“: The Crisis of Capitalism and the Historical Memory of Communism History of the Present» // *A Journal of Critical History*, vol. 4, no. 2: 115—142.

Hartog R. and J.Revel. (2001) *Les usages politiques du passé*. Paris: Editions de l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales.

Hutchinson J. (2017) *Nationalism and War*. New York: Oxford University Press.

Koposov N. (2017) *Memory Laws, Memory Wars: The Politics of the Past in Europe and Russia*. Cambridge: Cambridge University Press.

Kosiewski P. (2006) *Pamięć i polityka zagraniczna*. Warszawa: Fund im. Stefana Batorego.

Krastev I. and S.Holmes. (2018) «Imitation and Its Discontents» // *Journal of Democracy*, vol. 29, no. 3: 117—128.

Levi N. and M.Rothberg. (2018) «Memory Studies in a Moment of Danger: Fascism, Postfascism, and the Contemporary Political Imaginary» // *Memory Studies*, vol. 11, no. 3: 355—367.

Luczewski M. (2017) *Kapitał moralny: Polityki historyczne w późnej nowoczesności*. Kraków: Ośrodek Myśli Politycznej.

Molden B. (2016) «Resistant Pasts versus Mnemonic Hegemony: On the Power Relations of Collective Memory» // *Memory Studies*, vol. 9, no. 2: 125—142.

Olick J.K. (1999) «Collective Memory: The Two Cultures» // *Sociological Theory*, vol. 17, no. 3: 333—348.

Olick J.K. (2007) «Figurations of Memory: a Process-Relational Methodology Illustrated on the German Case» // Olick J.K. *The Politics of Regret: On Collective Memory and Historical Responsibility*. New York: Routledge: 85—118.

Radonić L. (2017) «Post-Communist Invocation of Europe: Memorial Museums' Narratives and the Europeanization of Memory» // *National Identities*, vol. 19, no. 2: 269—288.

Stockholm Declaration. (2000) URL: <https://www.holocaustremembrance.com/stockholm-declaration> (accessed 20.05.2019)

Todorov T. (2009) «Memory as a Remedy for Evil» // *Journal of International Criminal Justice*, vol. 7, no. 3: 447—462.



A.I.Miller

GROWTH OF THE SIGNIFICANCE OF INSTITUTIONAL FACTOR IN POLITICS OF MEMORY — CAUSES AND IMPLICATIONS

Alexei I. Miller — Doctor of Historical Sciences; Professor at the Department of History, Scientific Director of the Center for the Study of Cultural Memory and Symbolic Politics of the European University at St Petersburg; Visiting Professor at the Central European University (Budapest).
Email: millera2006@yandex.ru.

Abstract. The beginning of the 21st century was marked not only by the change in the common European narrative of memory, but also by the rethinking of the very nature of the cultural memory. This sphere came to be

seen as an integral part of politics rather than a space for eradication of the political. As a result, the previous approach that focused on overcoming disagreements both within and between individual countries gave way to an antagonistic approach, in which memory turns out to be a field of irreconcilable conflicts. These shifts resulted in the intensive institutionalization of the politics of memory. Other important consequences include change in the methodology of studying politics of memory; the focus on the interaction of actors and commemoration as a way of constituting groups; a different understanding of the role of a researcher as a participant in the processes that he/she analyzes.

In Russia, the institutionalization of politics of memory started with some delay. The turning point was 2012 that witnessed the creation of the Russian Historical Society and the Russian Military Historical Society, the start of the elaboration of the Historical and Cultural Standard and the project that later developed into the theme parks *Russia — My History*, as well as the adoption of the law on foreign agents. In the same year, the *Immortal Regiment* initiative was born, and a year later, the *Last Address* initiative was created. The article discusses the role of various actors in the process of institutionalization of the politics of memory in the Russian Federation and the new conditions, under which historians and researchers of the cultural memory find themselves today.

Keywords: memory narrative, cultural memory, politics of memory, commemoration, institutionalization of politics of memory

References

Andrieu C., M.C.Lavabre, and D.Tartakowsky. (2006) *Politiques du passé: Usages politiques du passé dans la France contemporaine*. Aix-en-Provence: Presses universitaires de Provence.

Assman A. (2014) *Dlinnaja ten' proshlogo: Memorial'naja kul'tura i istoricheskaja politika* [The Long Shadow of the Past: Memorial Culture and Historical Politics]. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie. (In Russ.)

Astrov A. (2012) "Istoricheskaja politika i „ontologicheskaja ozabochenost'" malykh tsentral'no-evropejskikh gosudarstv (na primere Estonii)» [Historical Politics and the "Ontological Concern" of Small Central European States (the Case of Estonia)] // Miller A. and M.Lipman, eds. *Istoricheskaja politika v 21 veke* [Historical Politics in the 21st Century]. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie: 184—215. (In Russ.)

Belavusau U. and A.Gliszczynska-Grabias, eds. (2017) *Law and Memory: Towards Legal Governance of History*. Cambridge: Cambridge University Press.

Berger Sh. (2012) "Istoricheskaja politika i natsional-sotsialisticheskoe proshloe Germanii, 1949—1982 gg.» [Historical Politics and Germany's National Socialist Past, 1949—1982] // Miller A. and M.Lipman, eds. *Istoricheskaja politika v 21 veke* [Historical Politics in the 21st Century]. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie: 184—215. (In Russ.)

Bernhard M. and J.Kubik. (2014) "Introduction" // Bernhard M. and J.Kubik, eds. *Twenty Years after Communism: The Politics of Memory and Commemoration*. Oxford: Oxford University Press: 12—14.

- Bogumił Z. (2018) *Gulag Memories: The Rediscovery and Commemoration of Russia's Repressive Past*. New York: Berghahn Books.
- Bull A.C. and H.L.Hansen. (2016) "On Agonistic Memory" // *Memory Studies*, vol. 9, no. 4: 390—404.
- Bürger P. (2016) "State Programs, Institutions and Memory in Russia" // Brusis M., J.Ahrens, and M.S.Wessel, eds. *Politics and Legitimacy in Post-Soviet Eurasia*. London: Palgrave Macmillan: 172—192.
- Cichočka L. and A.Panecka, eds. (2005) *Polityka historyczna: historycy — politycy — prasa*. Warszawa: Muzeum Powstania Warszawskiego.
- Cichocki M.A. (2005) *Władza i pamięć: o politycznej funkcji historii*. Kraków: Ośrodek Myśli Politycznej.
- Feindt G., F.Krawatzek, D.Mehler, F.Pestel, and R.Trimcev. (2014) "Entangled Memory: Toward a Third Wave in Memory Studies" // *History and Theory*, vol. 53, no. 1: 24—44.
- Gabowitsch M. (2016) "Are Copycats Subversive? Strategy-31, the Russian Runs, the Immortal Regiment, and the Transformative Potential of Non-hierarchical Movements" // *Problems of Post-Communism*, vol. 65, no. 5: 297—314.
- Gabowitsch M. (2017) "Foils and Mirrors: The Soviet Intelligentsia and German Atonement" // Gabowitsch M. *Replicating Atonement*. Cham: Palgrave Macmillan: 267—302.
- Ghodsee K. (2014) "A Tale of „Two Totalitarianisms“: The Crisis of Capitalism and the Historical Memory of Communism History of the Present" // *A Journal of Critical History*, vol. 4, no. 2: 115—142.
- Hartog R. and J.Revel. (2001) *Les usages politiques du passé*. Paris: Editions de l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales.
- Hutchinson J. (2017) *Nationalism and War*. New York: Oxford University Press.
- Koposov N. (2017) *Memory Laws, Memory Wars: The Politics of the Past in Europe and Russia*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Kosiewski P. (2006) *Pamięć i polityka zagraniczna*. Warszawa: Fund im. Stefana Batorego.
- Krastev I. and S.Holmes. (2018) "Imitation and Its Discontents" // *Journal of Democracy*, vol. 29, no. 3: 117—128.
- Kuvaldin S. (2019) "„Temnaja noch“ odna na vsekh. Kto i pochemu zapretil sovetSKUju pesnju v Pol'she" ["Dark Night" One for All. Who and Why Banned the Soviet Song in Poland] // *Snob*, 31.05. URL: <https://snob.ru/entry/177406/> (accessed 07.06.2019). (In Russ.)
- Levi N. and M.Rothberg. (2018) "Memory Studies in a Moment of Danger: Fascism, Postfascism, and the Contemporary Political Imaginary" // *Memory Studies*, vol. 11, no. 3: 355—367.
- Luczewski M. (2017) *Kapital moralny: Polityki historyczne w późnej nowoczesności*. Kraków: Ośrodek Myśli Politycznej.
- Miller A. (2012) "Vvedenie: Istoricheskaja politika v Vostochnoj Evrope nachala 21 v." [Introduction: Historical Politics in Eastern Europe at the Beginning of the 21st Century] // Miller A. and M.Lipman, eds. *Istoricheskaja*

politika v 21 veke [Historical Politics in the 21st Century]. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie: 7–32. (In Russ.)

Miller A. (2016) “Politika pamjati v postkommunisticheskoj Evrope i ee vozdejstvie na evropejskuju kul’turu pamjati” [Politics of Memory in Post-Communist Europe and Its Impact on European Culture of Memory] // *Politika*, no 1: 111–121. (In Russ.)

Miller A. and D.Efremenko, eds. (2018) *Metodologicheskie voprosy izuchenija politiki pamjati* [Methodological Issues of Studying the Politics of Memory]. Moscow, St Petersburg: Nestor-Istorija. (In Russ.)

Miller A. and D.Efremenko, eds. (2019) *Politika pamjati v Rossii i Vostochnoj Evrope: instituty, aktory, narrativy* [Politics of Memory in Russia and Eastern Europe: Institutions, Actors, Narratives]. St Petersburg: Izd-vo Evropejskogo universiteta. (In Russ.)

Minjust ne vkljuchil NIPTs “Memorial” v reestr inostrannykh agentov [The Russian Ministry of Justice Did Not Include the International Memorial on the List of Foreign Agents]. (2019) URL: <https://www.memo.ru/ru-ru/memorial/departments/intermemorial/news/235> (accessed 07.06.2019). (In Russ.)

Molden B. (2016) “Resistant Pasts versus Mnemonic Hegemony: On the Power Relations of Collective Memory” // *Memory Studies*, vol. 9, no. 2: 125–142.

Olick J.K. (1999) “Collective Memory: The Two Cultures” // *Sociological Theory*, vol. 17, no. 3: 333–348.

Olick J.K. (2007) “Figurations of Memory: a Process-Relational Methodology Illustrated on the German Case” // Olick J.K. *The Politics of Regret: On Collective Memory and Historical Responsibility*. New York: Routledge: 85–118.

Radonić L. (2017) “Post-Communist Invocation of Europe: Memorial Museums’ Narratives and the Europeanization of Memory” // *National Identities*, vol. 19, no. 2: 269–288.

Stockholm Declaration. (2000) URL: <https://www.holocaustremembrance.com/stockholm-declaration> (accessed 20.05.2019)

Todorov T. (2009) “Memory as a Remedy for Evil” // *Journal of International Criminal Justice*, vol. 7, no. 3: 447–462.

Ukaz № 1710 [Decree No. 1710]. (2012) URL: <https://rvio.histrf.ru/officially/ukaz-1710> (accessed 07.06.2019). (In Russ.)

“Vlasti Moskvy predlozhili perenesti na prospekt Sakharova aktsiju „Vozvraschenie imen“” [Moscow Administration Suggested to Move the Return of Names Action to Sakharov Avenue]. (2018) // *Vedomosti*, 20.10. URL: <https://www.vedomosti.ru/politics/news/2018/10/20/784196-vozvraschenie-imen> (accessed 07.06.2019). (In Russ.)

Voronovich A.A. (2018) “Rol’ evropejskoj politiki pamjati v gosudarstvennoj istoricheskoj politike Moldovy i Ukrainy v 2000-kh godakh” [The Role of the European Politics of Memory in the State Historical Politics of Moldova and Ukraine in the 2000s] // *Politicheskaja nauka* [Political Science], no. 3: 167–189. (In Russ.)